

Княгиня (1853)

Шевченко Тарас Григорович

Село! О! сколько милых, очаровательных видений пробуждается в моем старом сердце при этом милом слове. Село! И вот стоит передо мною наша бедная, старая белая хата, с потемневшею соломенною крышею и черным *дымарем*, а около хаты на *прычилку* яблуня с краснобокими яблоками, а вокруг яблуня цветник, любимец моей незабвенной сестры, моей терпеливой, моей нежной няньки! И у ворот стоит старая развесистая верба с засохшею верхушкою, а за вербою стоит *клуня*, окруженная стогами жита, пшеницы и разного, всякого хлеба; а за *клуною*, по косогору, пойдет уже сад. Да какой сад! Видал я на своем веку таки порядочные сады, как, например, Уманский и Петергофский, но это что за сады! Гроша не стоят в сравнении с нашим великолепным садом: густой, темный, тихий, словом, другого такого саду нет на всем свете. А за садом *левада*, а за левадою долина, а в долине тихий, едва журчащий ручей, уставленный вербами и калиною и окутанный широколиственными темными зелеными лопухами; а в этом ручье под нависшими лопухами купается кубический белокурый мальчуган, а выкупавшись, перебегает он долину и *леваду*, вбегает в тенистый сад и падает под первую грушею или яблонею и засыпает настоящим невозмутимым сном. Проснувшись, он смотрит на противоположную гору, смотрит, думает и спрашивает сам у себя: «А что же там за горою? Там должны быть железные столбы, что поддерживают небо! А что если бы пойти да посмотреть, как это они его там подпирают? Пойду да посмотрю, ведь это недалеко».

Встал и, не задумавшись, пошел он через долину и леваду прямо на гору. И вот выходит он за село, прошел *царыну*, прошел с полверсты поля; на поле стоит высокая черная могила. Он вскарабкался на могилу, чтобы с нее посмотреть, далеко ли еще до тех железных столбов, что подпирают небо.

Стоит мальчуган на могиле и смотрит во все стороны: и по одну сторону село, и по другую сторону село, и там из темных садов выглядывает треглавая церковь, белым железом крытая, там тоже выглядывает церковь из темных садов и тоже белым железом крытая. Мальчуган задумался. Нет, думает он, сегодня поздно, не дойду я до тех железных столбов, а завтра вместе с Катрею: она до череды коров погонит, а я пойду к железным столбам; а сегодня *одурю* Микиту (брата), скажу, что я видел железные столбы, те, что подпирают небо. И он, скатившись кубарем с могилы, встал на ноги и пошел, не оглядываясь, в чужое село; к счастью его, ему встретились чумаки и, остановивши, спросили его:

— А куда ты мандруєш, *парубче*?

— Додому.

— А де ж твоя дома, *небораче*?

— В Киреливци.

— Так чого ж ты йдеш у Морынци?

— Я не в Морынци, а в Киреливку йду.

— А коли в Киреливку, так сидай на мажу, товаришу, мы тебе доведемо додому.

Посадили его на *скрыньку*, что бывает в передке чумацкого воза, и дали ему *батиг* в руки, и он погоняет себе волю, как ни в чем не бывало. Подъезжая к селу, он [увидел?] свою хату на противоположной горе и закричал весело:

— Онде, онде наша хата!

— А коли ты вже бачиш свою хату, — сказал хозяин воза, — то и йды соби з Богом!

И, снявши меня с воза, поставил на ноги и, обращаясь к товарищам, сказал:

— Нехай йде соби з Богом.

— Нехай йде соби з Богом, — проговорили чумаки, и мальчуган побежал себе с Богом в село.

Смеркало уже на дворе, когда я (потому что этот кубический белокурый мальчуган был не кто иной, как смиренный автор сего, хотя и не сентиментального, но тем не менее печального рассказа) подошел к нашему *перелазу*. Смотрю через перелаз на двор, а там, около хаты, на темном зеленом бархатном *шпорыше*, все наши сидят себе в кружке и вечеряют; только моя старшая сестра и нянька Катерина не вечеряет, а стоит себе около дверей, подперши голову рукою, и как будто посматривает на перелаз. Когда я высунул голову из-за перелазы, то она вскрикнула: «Прийшов! прыйшов! — и, подбежав ко мне, схватила меня на руки, понесла через двор и посадила в кружок вечерять, сказавши: — Сидай вечерять, прибуду!» Повечерявши, сестра повела меня спать и, уложивши в постель, перекрестила, поцеловала и, улыбался, назвала меня опять прибуду.

Я долго не мог заснуть; происшествия прошлого дня мне не давали спать. Я думал все о железных столбах и о том, говорить ли мне о них Катерине и Миките или не говорить. Никита был раз с отцом в Одессе и там, конечно, видел эти столбы. Как же я ему буду говорить о них, когда я их вовсе не видал? Катерину можно б одурить... нет, я и ей не скажу ничего. И, подумавши еще недолго о железных столбах, я заснул.

Через два-три года я уже вижу себя в школе у слепого Совгиря (так назывался наш нестихарный дьячок), складывающего «тму, мну». И, проскладавши, бывало, до «тля, мля», выйду из школы на улицу, посмотрю в яр, а там мои счастливые сверстники играют себе на соломе около *клуни* и не знают, что есть на свете и дьяк, и школа. Смотрю, бывало, на них и думаю: «Отчего же я такой бесталаный, зачем меня, сердечного, мучат над этим проклятым букварем?» И, махнувши рукою, дам драла через *цвынтарь* в яр к счастливым на светлую, теплую солому, и только что начну свои гимнастические упражнения на соломе, как идут два псалтырника, берут меня, раба Божия, за руки и обращают вспять, сиречь ведут в школу, а в школе, сами здоровы знаете, что делается за несвоевременные отлучки.

Совгирь-слипый (слепым его звали за то, что он был только косою, а не слепой) был в нашем селе дьячком — не то чтобы стихарным, настоящим дьячком, а так соби, прибуду. Предшественник его, Никифор Хмара, тоже был у нас нестихарным дьячком; только раз у тытаря на меду захворал ночью, а к утру и помер, Бог его знает отчего. А Совгирь-слипый случился тут же у тытаря на банкете, да, не долго думая, в следующее же воскресенье стал на клиросе, пропел обедню, прочитал Апостола, да так прочитал, что громада и сам отец Касиян только чмокнули. Вот так после обедни громадою был провозглашен слипый Совгирь дьячком и с честью, подобающею его сану, введен был в школу, яко в свою *дидивщину*. Великий человек громада! Поселился он в своей школе, и школяры, в том числе и аз, невеликий, пошел к нему за наукою.

А собою был он росту высокого, широкоплечий и смотрел бы настоящим запорожцем, если бы не был косой; даже свою незаплетенную косу носил он как-то вроде *чупрыны*.

Нрава он был более сурового, нежели веселого. А в отношении житейских потребностей и вообще комфорта он был настоящий спартанец. Но что мне более всего в нем не нравилось, так это то, что, когда, бывало, в субботу после вечерни начнет нас всех, по обыкновению, кормить березовою кашею, — это все еще ничего, пускай бы себе кормил, нам эта каша была в обыкновение, а то вот где, можно сказать, истинное испытание: бьет, бывало, а самому лежать велит, да не кричать, а не борзяся и явственно читать пятую заповедь. Настоящий спартанец!

Ну, скажите, люди добрые, рождался ли когда на свет такой богатырь, чтобы улежал спокойно под розгами? Нет, я думаю, такого человека еще земля не носила.

Бывало, когда дойдет до меня очередь, то я уже не прошу о помиловании, а прошу только, чтобы он умилосердился надо мной и велел меня, субботы ради святой, придержать хоть немножко; иной раз, бывало, и умилосердится, да уж так отжарит, что лучше б и не просить о милосердии.

Мир праху твоему, слепой Совгирю! Ты, горемыка, и сам не знал, что делал; тебя так били, и ты так бил и не подозревал греха в своем простосердечии! Мир праху твоему, жалкий скиталец! Ты был совершенно прав!

И вот я, к несказанной моей радости, кончил «Мал бех», т. е. кончил Псалтырь, поставил, по обыкновению, кашу братии с грошами, совершил сей священный обряд неукосненно по всем преданиям старины и на другой же день принялся мелом выводить примерные каракули на крашеной доске, сиречь я уже был не псалтырник, а скорописец.

В эту-то почти счастливую для меня эпоху случилось переобразование школе: прислали к нам из самого Киева стихарного дьячка. Совгирь-слепой сначала было поартачился, но принужден был уступить перед лицом закона и, собравши всю свою мизерию в одну торбу, закинув ее на плечи, взял *патерыцю* в руку, а тетрадь из синей бумаги с сковородинскими псалмами в другую и пошел искать себе другой школы. А братия моя по науке, аки овцы от волка рассыпашася, так они от нового стихарного дьячка, зане пьяница бе паче всех пьяниц на свете. Тяжко противу рожна прати! И я, терпеливейший из братии, наконец взял свое орудие — таблицу, перо, *каламарь* с мелом и пошел восвоися с миром, дивяся бывшему.

С этого времени начинается длинный ряд самых грустных, самых безотрадных моих воспоминаний! Вскоре умирает мать, отец женится на молодой вдове и берет с нею троих детей вместо приданого. Кто видел хоть издали мачеху и так называемых сведенных детей, тот, значит, видел ад в самом его отвратительном торжестве. Не проходило часу без слез и дра/**156**/ки между нами, детьми, и не проходило часу без ссоры и брани между отцом и мачехой; меня мачеха особенно ненавидела, вероятно, за то, что я часто тузил ее тщедушного Степанка. Того же года отец осенью поехал зачем-то в Киев, занемог в дороге и, возвратясь домой, вскоре умер.

После смерти отца один из многих моих дядей, чтоб вывести сироту в люди, как он говорил, предложил мне за ястие и питание пасти летом стадо свиное, а зимою помогать его *наймиту* по хозяйству, но я другую часть избрал.

Взявши свою таблицу, *каламарь* и Псалтырь, отправился к пьяному стихарному дьяку в школу и поселился у него в виде школяра и работника. Тут начинается моя практическая жизнь. Пребывание мое в школе было довольно не комфортабельное; хорошо еще, если случались

покойники в селе (прости меня, Господи), то мы еще кое-как перебивались, а не то просто голодали по несколько дней сряду. Вечерком иногда, бывало, я возьму торбу, а учитель возьмет в десную посох дебелий, а в шуйцу сосуд скудельный (мы и жидкостями не пренебрегали, как-то: грушевым квасом и прочая), и пойдём под окнами воспевать «*Богом избранную*», иной раз принесем-таки кое-что в школу, а иной раз и так насухо придем, разве только что не голодные.

Я знал почти всю Псалтырь наизусть и читал ее (как говорили слушатели мои) выразительно, т. е. громко. Вследствие такого моего досужества не был в селе похоронен ни один покойник, над которым бы я не прочитал Псалтыри. За прочтение Псалтыри я получал *кныш* и *копу* деньгами. Деньги я отдавал учителю как его доход, и он уже от щедрот своих уделял мне пятака на *бублики*, и это был один-единственный источник моего существования. При таких, можно сказать, умеренных доходах я не мог жить открыто и одевался даже не щегольски, как прилично званию школяра; ходил я постоянно в серенькой дырявой свитке и в вечно грязной бессменной рубашке, а о шапке и сапогах и помину не было ни летом, ни зимою. Однажды дал мне какой-то мужик за прочтение Псалтыря на *пришвы ремню*, да и то от меня учитель отобрал как свою собственность.

И много, много мог бы я рассказать презанимательных и назидательных вещей на эту тему, да рассказывать как-то грустно.

Так пролетели четыре жалких года над моею детской головою.

Потом воспоминания мои принимают еще печальнейшие образы. Далеко, далеко от моей бедной, моей милой родины

Без любви, без радости
Юность пролетела.

Не пролетела, правда, а проползла в нищете, в невежестве и в унижении. И все это длилось ровно 20 лет.

В продолжение моего странствования вне моей милой родины я воображал ее такую, какую видел в детстве: прекрасною, грандиозною, а о нравах ее молчаливых обитателей я составил уже свои понятия, гармонируя их, разумеется, с пейзажем. Да мне и в голову не приходило, чтобы это могло быть иначе. А выходит, что иначе.

После двадцатилетних испытаний я немного оперился и, разумеется, полетел прямо в родимое гнездо. Вскоре передо мною засверкали давно знакомые мне беленькие хатки. Они как будто улыбались мне из темной зелени.

Может ли быть место в этих милых приютах нищете и ее гнусным спутникам? Нет! А иначе человек был бы не человек, а простое животное. С этим сладким убеждением я проехал почти всю Черниговскую губернию, нигде не останавливаясь. С города Козельца мне нужно было взять в сторону от почтовой дороги — взглянуть поближе на мой эдем и даже выслушать сию печальную и правдивую повесть.

Город Козелец не отличается своею физиономиею от прочих своих собратий, поветовых малороссийских городов. В истории нашей он тоже не играет особенной роли, как, например, заднипрянские его товарищи, разве только что в 16[63] году здесь была собрана знаменитая Черная *рада*. Словом, городок ничем не примечательный; но проезжий, если он только не спит во время перемены лошадей или не закусывает у пана Тихоновича, то непременно полюбуется

величественным храмом грациозной архитектуры растреллевской, воздвигнутым Наталией Розумихою, родоначальницею дома графов Разумовских.

В шести верстах от г. Козельца, в селе Лемешах, в бедной хатке, на *сволоке*, или балке, читаешь: «*Сей дом соорудила раба Божия Наталия Розумиха, 1710 року Божого*». А в г. Козельце, в величественном храме читаешь на мраморной доске: «*Сей храм соорудила графиня Наталия Разумовская в 1742 году*». Странные два памятника одной и той же строительницы!

В Козельце нанял я пару немудрых лошадок вместе с рыжим жидком и поехал себе проселком, куда мне нужно было. Это было уже в сентябре месяце. С утра был день только серенький, а к вечеру стал и мокренький; время шло к ночи, нужно было где-нибудь приютить себя на ночь, а по дороге не только корчмы — и мизерного шинку не видно.

Не доезжая Трубежа, или, по-местному, Трубайла, нам показалось на косогоре село. Подъезжаем ближе — и действительно — село, только погорелое, и ничего живого на черной улице не видно. А за греблею, по ту сторону Трубежа мы увидели между вербами и едва начинающими желтеть садами белые хаты. Проехали мы по плотине мимо двух шумящих мельниц и очутились в большом козачьем селе. Чистые большие хаты и неразрушенные тыны свидетельствовали о благосостоянии обитателей, но первая к *царыне* хата своею миловидностью мне особенно приглянулась, так что я решился просить себе в ней приюта на ночь. Дождик моросил таки порядочно, а хозяин приветно улыбающейся хаты стоит как ни в чем не бывало, стоит себе, облокотясь на тын, в новом нагольном тулупе, курит коротенькую трубку и, улыбаясь, смотрит, как его любимцы, круторогие *половые* волы, наслаждаются в огороде капустою. Увидевши в окно такое святотатство, из хаты выбежала хозяйка и сквозь слезы закричала:

— Чего же ты стоишь, *недолюде* старый, и смотришь, как добро *нивечить* скотына! Чому ты ее не заженеш в загороду?

— Я ее тридцать лет загонял, пускай теперь другие загоняют, — ответил хозяин совершенно равнодушно и продолжал курить трубку.

— А! Боже мий з тобою! — снова закричала хозяйка. — Да ты хоть бы кожух скинул, видишь, дождь идет!

— Так что ж! Пускай себе идет с Богом!

— Как что ж! Кожух изнивечиш!

— Так что ж, пускай себе изнивечу, у меня другой есть.

— Хоть кол на голове теши, а он все свое править, — сказала хозяйка и побежала выгонять с огорода скотину. Хозяин посмотрел ей вслед и самодовольно улыбнулся.

Мне очень понравилась его совершенно хохлацкая выходка, и я, высунувшись с брички, приветствовал хозяина с добрым вечером, на что он отвечал:

— Добрывечир и вам, люды добри! А чи далеко Бог провадыть? — прибавил он, надевая шапку.

— Та недалеко, а все-таки сегодня не доидемо, — сказал я, вылезая из брички, и прибавил с расстановкою: — А чи не можна б у вас, дядюшко, пидночовать?

— Чому не можна? Можна, Боже благословы! Хата чимала, а мы добрым людям ради. — И, говоря, он отворил ворота, и бричка всунулась во двор.

— Просымо покорно *до госпóды!* — сказал мне хозяин, когда я вошел на двор, и заметно было, что он старался выговаривать слова на русский лад. Я вошел в хату; в хате было почти темно, но все-таки можно было видеть, что хата была просторная и чистая.

— Просымо покорно, садовитесь, — говорил хозяин, показывая на *лаву*. — А я тым часом скажу свой старий, щоб що-небудь нам засвityла, — прибавил он, уходя из хаты.

Через минуту вошла в хату старушка со свечой и, поставив ее на столе, тихо отошла к двери и, сложа руки на груди, молча остановилась. Она была в чистом чепце и в таком же немецком платье. Меня это удивило. «Каким родом, — подумал я, — очутилось подобное явление в мужицкой хате?»

Вскоре за старушкой вошел и хозяин в хату, неся на руках плачущее дитя. Дитя, увидя старушку, зажало губки и, улыбаясь, протянуло к ней свои крошечные ручонки.

— Возьмы его, Микитовна, до себе, — говорил хозяин, передавая дитя старушке. — Бач, воно мужика боиться, сказано — панська дытына, — прибавил он, глядя его по головке своей костлявой и широкой рукою. У меня в кармане были леденцы; нужно заметить, что я этот продукт постоянно имел в кармане во время моих поездок по Малороссии. Заметьте, что ничем нельзя так скоро задобрить моего угрюмого земляка, как приласкать его дитя, и я часто не без пользы употреблял эту тактику. Я подал леденец дитяти; оно сначала посмотрело на меня своими необыкновенно большими глазами, потом молча взяло леденец и, улыбаясь, воткнуло в свои розовые губки.

Тут я мог поближе взглянуть на дитя и на старушку. Старушка показалась мне живой картиной Жерар Доу, а дитя — это был херувим Рафаэля. Меня поразила эта чистая, тонкая красота дитяти; мои глаза остановились на этом прекрасном создании. Старушка отнесла дитя в сторону и перекрестила, вероятно, от дурного глаза, а хозяин, подойдя ко мне, сказал:

— А что, не правда ли, что панская дытына?

— Прекрасное дитя, — ответил я и подал дитяти еще один леденец. Хозяин заметно был доволен моими гостинцами и, подходя к старушке, сказал:

— Дай лышень мени его, Микитовна, а ты пиды та скажи мой старий, чи не найде вона там чого-небудь нам поподвечиркувать, та, може, колы не лыха буде, то й тее... по чарочци... догадуєтесь, Микитовна? Мы, добродию, люды прости, — сказал он, обращаясь ко мне. — У нас нема ничего такого солодкого, ни того чаю, ниже того сахару, а так просто, по-простому.

Старушка вышла из хаты, а он, с ребенком на руках подходя ко мне, сказал:

— Отепер подывитесь на его, добродию, правда, що хороше? Сказано — княжа.

— Да как же очутилося у вас княжеское дитя? Расскажите мне, ради Бога! — спросил я с удивлением.

— Нехай вам, добродию, Микитовна розкаже, бо тут, не вам кажучи, була настоящая комедия. Вы бачили отам, за Трубайлом, погориле село?

— Видел, — ответил я.

— Так добре, що видели. Вот то самое село було колысь оцёго дытяти матери, та и выгорило. А вона, его маты... Та я не розкажу вам, як воно там выгорило: мене тойди дома не було, то я и не бачив его. Нехай Микитовна сама розкаже; вона бачила, то вона и знае, як воно диялось.

Между тем старушка вошла в хату и чистой белой скатертью поверху *килима* накрыла стол, достала с *полыци* восьмиугольный расписанный графин с водкою и рюмку и поставила на стол; потом принесла на деревянной тарелке, тоже разрисованной, кусками нарезанного чабака и *паляницю*. И все это было сделано ею тихо, чинно, так что, глядя на нее, можно было наверное сказать, что она выросла и состарилась не в мужицкой хате. Потом взяла на руки ребенка и отошла в сторону, а хозяин сказал ей:

— Микитовна, когда положишь спать дытыну, то зайды до нас, нам треба буде розпытать у тебе дещо. Та скажите там мой старий, нехай нам вечерю готує, та не галушки або кулиш, — бачите, у нас чужи люды!

Старушка вышла из хаты, а он вслед ей прибавил:

— Зайдить же до нас, Микитовна, як упораетесь.

— Хорошо, зайду, — отвечала она из сеней.

Выпивши по одной, а потом и по другой, хозяин мой стал словоохотнее. Он разговорился до того, что, сам не замечая, рассказал мне всю свою биографию. Рассказал мне, между прочим, как он, будучи парубком еще, был в *погоньцях* под французом и воротился с Неметчины голый голым, с одним *батогом* в руках, и как потом пошел в *наймы* до попа, и как после трудом и разумом разбогател и сделался из бездомного сироты-наймита первым хозяином в селе. Словом, через час времени я, не допытываясь, узнал всю его самую сокровенную историю.

Но что мне особенно в нем понравилось — что он, рассказывая свою обыкновенную историю, касался как бы мимоходом своих богатырских подвигов, и не подозревая в них ничего необыкновенного.

А между тем старушка принесла нам вечерю и сама повечеряла с нами. Помолившись Богу после вечера, хозяин, обратясь к старушке, сказал:

— Тепер, Микитовна, розкажить нам про свою княгиню, як воно там у вас диялося. А с самого начала, — прибавил он, — наточить нам с *кухоль* сливянки — воно, знаете, веселише буде слухать.

Через минут пять старушка возвратилась в хату с порядочным стеклянным *глечиком* в руках.

Поставивши *глечик* на стол, сама она села на скамейку и, помолчав немного, проговорила, вздохнувши:

— Про ее бесталанье, Степановичу, про ее тяжкую, горькую долю я готова каждый день, каждую годину рассказывать всему свету, чтобы весь свет знал про ее горькие кровавые слезы и казнил ее кровавыми слезами, — и она тихо заплакала.

Мы выпили по рюмке сливянки, а старушка, утерши слезы, начала так:

— Не умею сказать, сколько минуло тому лет, только это случилось давно, еще до француза; я была еще тогда такую *стрыгою*, когда покойный Демьян Федорович, царство ему небесное, пришел из-под француза. Они служили в каких-то козаках, а в каких именно, не умею вам

сказать. Знаю только, что в козаках, и больше ничего. Батюшку своего, Федора Павловича, царство ему небесное, они не застали в живых. Осмотревшись дома около хозяйства, поправили, что нужно было поправить, а что не нужно, то и так оставили. Тогда же они выстроили и два *витряка*, вот что на горе стоят. Они только и уцелели ото всего добра. Построивши витряки, да и задумали свататься, и высватали они аж за Остром у какого-то Солонины Катерину Лукьяновну. Вот весною засватались, а после Першої *Пречистои* и повенчались; и полгода не был женихом, голубчик мой. После их свадьбы меня и взяли в двор, в покои. Долго я плакала и скучала за своими домашними, а после привыкла, когда побольше подросла. На другой или на третий год... кажется, на третий, дал им Бог дитя. Назвали его Катериною, а меня приставили к нему нянькою. С той поры и по сие лютее время я не разлучалася с моею бесталанницею ни на один час. Она у меня на глазах выросла, и замуж вышла, и...

— Та годи вам плакать, Микитовна, — сказал хозяин с участием. — На все те воля Божия, слезами только Бога гнивьте.

Старушка, помолчав немного, продолжала:

— А какой хозяин! Какой пан добрый! Душа какая праведная была! И все пошло прахом. Бывало, покойный Катеринич приедет к нам из Киева, да только подивуется, а уж можно сказать, что Катеринич даром никого не похвалит. Да, правду сказать, было чему и подивоваться. Село всего-навсего сорок хат, а посмотрите, чего в этом селе нет? И *ставы*, и млыны, и пасики, и вынныця, и *броварь*, и скотыны разной, а в *коморах*, — и, Господи! — разве птичьего молока нет, а то все есть. А по селу так любо было по улице пройты: хаты чистые, белые; казалось, что в нашем хуторе вечная Велькодная неделя.

Люды ходять соби по улице или сидят под хатами, обутые, одетые. А дети бегают по улице в беленьких сорочечках, точно янгелята Божии. О, ох! и где это все девалось? Правда, и Катерина Лукьяновна была хозяйка, но все-таки не то, что сам.

Бывало, каждое божее воскресенье или праздник какой запросят покойного отца Куприяна на «Отченаш» да и выставят двенадцать графинов и все с разными настойками. А отец Куприян, царство ему небесное, по «Отченаше» выпьет, бывало, из каждого графина по рюмке, да как дойдет уже до последнего, то и скажет: «Вот это хорошая водка, ее и будем пить». А водки, правду сказать, все были одинаково хорошие, да он, покойник, был уже такой чудной, любил иногда, царство ему небесное, и пошутить.

— Чудный! чудный-таки был покойник, — говорил хозяин, наливая в рюмку сливянки. — А чтобы, сказать, пьяного, так я его никогда не видал. Бог его знает, или это уже натуру такую добрую Бог даст человеку, или человек уже сам приспособится, не знаю. А что, Микитовна, если б и вы з нами выпылы чарочку сливянки, воно б, може, и полегшало.

Старушка отказалась от сливянки и, немного помолчав, продолжала свой рассказ:

— Катерине Демьяновне пошел уже другой годочек, как воно в первый раз на ноги стало. Я привела ее за ручку в гостиную, где они поутру пили чай. Господи! что тут было радости! так и рассказать не можно. Катерина Лукьяновна взяли ее на руки и, поцаловавши, тут же и сказали, что ни за кого на свете не выдадут ее замуж, как за князя или какого генерала. Ох! так же оно и случилось на наше безголовья.

А какие люди сватались! Нет-таки, дай ей князя или генерала. Вот тебе и князь!

— Да, таки нечего сказать, хороший князь, — перебил хозяин. — Дался он ей, бедной, звать

себя.

— Стало оно вырастать, стали его учить сначала грамоте, а потом — и, Господи! — чему они его не учили? Бывало, жаль посмотреть на бедное дитя: и шить, и вышивать, и прясть, и нитки сучить, а раз сам так послал ее, бедную, и коров даже доить. Бывало, сама иногда вскинется на него: «Что ты, — говорит, — делаешь с бедным ребенком? Разве мы ее за мужика что ли готовимо?» — «А может, и за мужиком придется жить: будущее кто знает?» — бывало, скажет сам, да и замолчит. А она ему: «Ты бы лучше для нее фортепяны купил в Киеве». Купили и фортепяны на контрактах. Привезли с фортепянами и учителя; не умею сказать, поляк ли он был, или немец, не знаю, только он говорить совсем не умел по-нашему; бывало, скажет слово, так слушаешь да хохочешь. Вот он ее в год или в два и выучил играть на тех фортепянах, да как, бывало, заиграет моя лебедонька, так только сидишь, слушаешь, слушаешь, да и заплачешь. А она возьмет да и переменит песню, да как ударит *горлыцю* или *метелицю*. Согрешила я, грешная, не вытерплю, бывало, да как возьмусь в боки, да и пойду, да как пойду? Только *подлога* ломится. А она играет, бывало, да хохочет. Однажды нас и застала сама. Да как прикрикнет на нее: «Ты, — говорит, — что это делаешь? Разве этому тебя учили играть? Только инструмент портишь своими мужицкими песнями. А ты, *цындря*, не знаешь, где коров доят, то будешь знать». Я, разумеется, испугалась и стала себе в угол, да и стою, как будто меня и в комнате нет.

— А вы таки, Микитовна, булы колысь, нигде правды сховать, таки добре *дзындзюрысти*, — сказал хозяин, наливая рюмку сливянки.

— Просты мене, Господы! Сказано — молодость, а в молодости чего не случается. А бывало, когда моя пташечка Катруся совсем выросла, то как только лягут спать паны после вечери, а мы и выйдем тихонько в сад, гуляем, гуляем, до самого света гуляем. А месяц так тебе и светит, как будто днем. А она еще, бывало, возьмет да и запоет: «*Не ходы, Грыцю, та на вечерныцю*», — та тихо, тихо, та сладко, так бы вот, кажется, и слушала б ее, слушала б, до самого б свету слушала б.

— Помню, хорошо помню, — сказал хозяин, — раз иду я вночи коло вашего саду, только слушаю, что-то поет, только не «Грыця», а другую какую-то песню. Я остановился и так простоял, как прикованный до тыну, до самого билого дня. Ничого сказать, прекрасно було слушать, как вона, бывало, заспивае.

— А поутру, спала ли, нет ли, вспорхнет, что твоя пташечка, и снова поет, и снова веселится, и никто, опроче меня, не знает, что ночью диялось. Ах, вот что я было чуть-чуть совсем не позабыла: есть тут, голубчики мои, недалеко од нашего села на Трубайли хутор майора Ячного. Вы его, Степанович, знаете, самого майора? Он и теперь еще здравствуе, благодарение Богу. А что за хозяин! Так и покойному нашему Демьяну Федоровичу не уступит. Правда, у него только всего-навсе десять хат на хуторе, так зато и хаты! Зато и люды! Что хата, то семья — душ десять. Известное дело, в добри та в роскоши живут. А у самого майора ставочок, млыночок, садочок, витрячок, а домик — что твоя писанка: чистенький, беленький, только смотри да любуйся. А что же, если б у него еще и хозяйка была б жива, а то он сам за всем хозяйничал. Правда, был у него сынок, но то, что еще, можно сказать, дытына, да и то не на глазах росло, а было где-то в школах, не знаю — в Киеве, не знаю — в Нежине.

А были они с нашим покойным великие приятели, бывало, или наш у него, или он у нашего, куска хлеба не съедят врозь, все вместе. На праздники приезжал к нему гостить и сын из школы, и только слава, что приезжал к отцу, а у нас, бывало, и днюет и ночует, и с моею Катрусею, бывало, и в поле, и в саду, и в покоях, одно без другого никуда. Я, бывало, гляжу на них та и думаю: «Вот вырастает парочка, так так, что на диво. Они просто одно для другого на

свет Божий родилися». Так думал и майор, так думал и наш Демьян Федорович, а про детей и говорить нечего; да все так думали. Да не так думала Катерина Лукьяновна. Она спала и видела своего зятя или князя, или генерала, а о других и думать не хотела. Бывало, когда ему, бедному, приходило время отправляться в школу, то Катруся моя уже за неделю начинает плакать, а когда он уедет уже совсем, то она, бедная, просто в постель сляжет и долго после того не ест, не пьет ничего, — Бог ее знает, чем она и жива была.

Так-то они, мои голубяточки, росли, росли, да и выросли вместе, да и полюбились, сердечные, на свое безголовья.

Господи! я уже в *домовыну* смотрю, а когда вспомню про них, моих пташечек, то как будто снова молодею. Бывало, уже перед тем, как им надо расставаться, сойдутся себе в саду, станут где-нибудь под липою или под берестом, обнимутся, поцалуются и долго-долго смотрят друг другу в очи, а слезы у обоих из очей так жемчугом и катятся, — знать, они чувствовали, бедные, что не дадут им жить одному для другого.

Вот он уже кончил свою школу. Покойный губернатор Катеринич взял его к себе в Киев, определил его в какую-то палату. Не умею уже вам [сказать], для чего он его определил в палаты. Вот он пробыл уже год в той палате, а на другой год приезжает к нам в гости, да и давай сватать мою Катрусю. Демьян Федорович, царство ему небесное, таки сразу согласились. И говорят, что лучше мужа нашый Кати не найты и за морями. И правду говорили. Так что ж сама?.. Не Катруся сама, Боже бороны! а сама Катерина Лукьяновна? Уперлысь и руками, и ногами. «Как! — закричит, бывало. — Чтобы я свою единственную дочь отдала за хуторянына, за *гречкосия*! Нет, лучше я ее в гроб положу, чем увижу ее, мою милую Катеньку, на хуторе Ячного! Что она там будет делать — индыков кормить, гусей загонять? Нет, не для того я ее на свет породила, не для хутора Ячного я ее воспитывала!» Фыркнет, бывало, и запрется в свои покои на целый день. А он сам около нее и так и сяк. Нет, хоть и не подходи — знай свое провадыть: князя или генерала, да и только! Покойный Демьян Федорович хотел уже было без ее согласия перевенчать, да, знать, Бог не судил ему это доброе дело. О Рождестве он заболел, вернувшись из Козельца, а на Середохрестний и Богу душу отдал.

Господи! и теперь страшно вспомнить! Как он, уже на вечной постели, просил ее, чтобы не отдавала Кати ни за князя, ни за генерала, а чтобы отдала ее за молодого Ячного или за кого другого, только за свою ровню. Нет, таки поставила на своем.

На тот грех, как раз в Чистый четверг, вступила драгуня в Козелец, да и заквартировала по хуторах и по селах на все лето.

Да и драгуня ж это была! Чтобы она к нам никогда не возвращалась. Да, таки дала знать себя эта проклята драгуня! Не одна *чорнобрывка* умылася слезами, провожавши эту иродову драгуню. В одном нашем селе осталось четыре *покрытки*. А что же в Оглаве? да в Гоголеве? Там, я думаю, и не пересчитаешь! Горе нам! Горе нам з тымы драгунами!

Да и теперь страшно вспомнить. Раз сыдымо мы ввечеру все трое в гостиной; я, кажется, *карпетку* вязала, Катерина Лукьяновна сидели так, а Катруся книжку читала, да такую жалобную, чуть-чуть не заплакала: про какого-то запорожца Киршу или про Юрия, не помню хорошенько, только очень жалобно. Вот уже дочиталась она, моя рыбонька, как того Юрия-запорожца закувалы в кайданы и посадылы в темныцю, только глядь, смотрим, входит в комнату драгун, высоченный, усатый, а морда, неначе тее решето, гладка та *червона*, здавалась червонишою од воротныка, що пришитый до его мундира. «Я, — говорит, — такой-то и такой, князь Мордатый!» — «Мы сами видим, что ты мордатый», — думаю себе. «Я, — говорит, — покупаю овес и сено; нет ли у вас овса и сена продажного?»

— Есть, — говорит Катерина Лукьяновна, — прошу садиться.

Вот он себе и сел, а мы с Катрусеею ушли в другую комнату дочитывать книжку. Только что начали читать, а в комнату входит Катерина Лукьяновна и говорит: «Вот тебе, Катенька, и твой суженый».

Мы как сидели, так и обмерли. Как уже у них было в тот несчастный вечер и как он сватался, мы ничего не знали. Только с того самого вечера князь к нам начал ездить каждый божий день и рано, и вечером. А молодого Ячного, когда приедет он, бывало, из Киева, и на двор не пускали. Ходит, бывало, бедный, поза садом да плачет. А мы, глядя на него, и себе в слезы.

Что ж! И помогли слезы? А ни-ни. Катерина Лукьяновна таки поставила на своем. Как раз через год после смерти Демьяна Федоровича, на *Велькодных святках*, просватала за князя мою бесталанницу Катрусю.

— И можна-таки сказать, что бесталанница: ото всего добра, ото всей роскоши только и осталось, что два витряка, да и сама еще Бог знает останется ли в живых, — говорил хозяин, как бы сам про себя, наливая рюмку сливянки.

— А вот как было, Степановичу. На Фоминой неделе их и повенчали. Плакала, плакала она, моя бесталанница, да что! Знать, так Господу угодно было. Не умолила она Его, милосердного. Знать, Господь Бог любя наказует!

На другой день после свадьбы переехал он к нам из Козельца, и денщик его Яшка, такой скверный, оборванный, тоже с ним переехал. И только й добра было с ними, что преогромная белая кудрявая собака, юхтовый зеленый кисет и длинная трубка.

С того же дня и началось новое господарство.

На этом слове старушка остановилась и, помолчав немного, перекрестясь, сказала:

— Господи! прости меня, непрощенную грешницу! За что я осуждаю человека, ничего мне злого не сделавшего... А как подумаю, так он и мне таки немало наделал зла. Он, прости ему, Владыко милосердый! — тут она снова перекрестилась, — он, душегубец, загубил мое единственное сокровище, мою одну-единственную любовь! Я никогда никого на свете так не любила, как полюбила ее, мою горькую бесталанницу. Одна моя единая радость, одно мое единое было сладкое счастье! видеть ее счастливою замужем. И что же? Слезы! слезы! слезы! и посрамление! А все мать! Всему, всему причиною одна родная мать: захотелось ей, видишь ли, свою единственную дочь увидеть княгинею! Ну, вот тебе и княгиня! Любуйся теперь на свою княгиню! Любуйся на свое теперь прекрасное село, на свой сад зеленый, на свой дом высокий! Любуйся, Катерина Лукьяновна! Любуйся на свои хорошие дела! Ты, ты одна все это натворила!

Старушка от избытка чувств умолкла, а хозяин, немного погодя, сказал:

— Та цур ий, Микитовна, не згадуй ее, нехай ий лыхо сныться; розкажуйте, що там дальше буде?

— Ох! я не знаю, как мне уж и рассказывать! Потому что тут пойдет все такое срамное, скверное, что и подумать грешно, а не то что рассказывать!

— Розкажуй уже, Микитовна, до краю, а то так не треба було и зачинать, — говорил хозяин, наливая рюмку сливянки и поднося ее рассказчице.

— Спасыби, спасыби, Степановичу, я вже моими слезами пьяна.

— А не хочете, то як хочете, а мы з добродием так выпьем; а вы тым часом розкажить, як воно зачалось у вас те новее господарство? — говорил хозяин, потчуя меня сливянкой.

— А началось вот так, — проговорила старушка и, помолчавши, почти закричала:

— Ну! скажите вы мне, люди добрые! чего ей, грешнице, недоставало? Пани на всю губу. Всякого добра и видимо и невидимо, купалась в роскоши! Так же нет, мало, дайте мне зятя князя, а то умру, як не дасте. Добула, выторговала, купила себе князя, продавши свою дочь. О матери! матери! Вы забываете свои страдания при рождении дитяти, когда так недорого продаете это дитя, которое вам так дорого обошлось!

Старушка замолчала, а хозяин сказал:

— Все воно так, Микитовна, а мы все-таки не знаем, как у вас началось новое господарство?

И она спокойно продолжала:

— А началось воно так, Степановичу, что князь в комнатах завел псарню; вот так началось новое господарство! Всякий Божий день пиры да банкеты, бывало, свету Божия не видишь от табачного дыму, а о прочем и говорить нечего. А еще, бывало, как зазовет к себе на охоту всю свою драгуню из Козельца, то Господи и упаси! Наедут пьяные, грязные, скверные такие, что не дай Бог и во сне таких увидеть. Да еще всякой возьмет себе по денщику, такому же скверному, как и сам, и не день, и не два, и не три, а целую неделю гостят. А что они за эту неделю наделают в комнатах, так я и рассказать стыжуся. *Свынынець*, настоящий *свынынець*! Так что, бывало, вымываем да выкуриваем после них целый месяц. Отут-то я только узнала, что значит драгуня! А Катерина Лукьяновна смотрит на них да только себе улыбается, и больше ничего.

Не прошло и месяца, как он уже все к себе забрал в руки. Ключи от *коморы* и *леху* были у его поганого Яшки. Так что ежели чего захочется Катерине Лукьяновне, то нужно было просить Яшку. Отут-то она в первый раз отроду заплакала, отут-то она увидела своего князя таким, каким его надо было матери видеть прежде. Но она, гордая, и виду не показывала, что она все видит; а когда, бывало, придется уже ей до *скруту*, не возмогу, то она хоть через великую силу, а все-таки улыбнется и поворотит все в *жарты* (в шутку).

А Катруся, моя бедная Катруся! сидит, бывало, в своей комнате и день и ночь, да так рекою и разливается.

А он (и это не один раз) приедет в полночь из Козельца пьяный, да привезет с собою жида с цымбалами, всех подымет. «Танцуйте! — кричит, — хохлацкие души! Танцуйте! А не то всех вас передош!» Мы, бывало, с Катрусею убежим себе в сад летом, а зимою не раз мы ночевали в мужицкой хате.

— Мне только вот что кажется чудным, — перебил ее хозяин, — как вы не догадалися его пьяного задуть, да сказали б, что умер с перепоею или просто сгорел.

— Э, так, думаете, и сказать легко! А грех! а Страшный суд, Степановичу! Нет, пускай себе умирает своею смертию, Бог ему и суд, и кара, а не мы, грешные!

— Та воно-то так, Микитовна, а бывает и вот еще как: одному разбойнику на исповиди в Киеве чернець задав такую покуту. «Возьмы, — говорить, — непощенный грешныче, два камени,

свяжи их докупы сырыцевым ремнем, перекинь через плечо, и когда ремень перервется, тогда твои грехи будут прощены». Отож, идет он с тымы камнями через кладовыще и видит, что на свежей могиле блудный сын мать свою проклинае. «Господи! — говорит разбойник, — не одного я доброго человека послав на тот свет, дай пошлю и отого злодея-ругателя». И только что убил его, ремень как ножом перерезано. Вот что! — прибавил он значительно. — Так что же у вас там дальше происходило, Микитовна? — сказал он, подвигая к себе *кухоль* с сливянкою.

— А происходили, Степановичу, *сливы*, та плясы, та полунощные банкеты. И добанкетовалися до того, что к концу зимы нечего было на стол поставить. Драгуния, знаете, наедет голодная, так тут хоть *макитру* пустую поставь на стол, то и ту съедят. Все, что ни поставь, бывало, как метлою метут. А когда не успеем, бывало, собрать вовремя посуды, то и посуда полетит под стол. Сказано — пьяни люды! А сам сидит себе за столом, та знай в ладоши бьет, та кричит «ура!!» Сначала я не понимала этого слова и думала, что он сердится и ругает своих гостей, а вышло, что он рад был, когда они пустошили добро.

Вот так-то они всю зиму просодомили та прогомóрили, а весною, смотрим, наше поле не зеленеет, ни трава, ни жито, ни пшениця не зелениють. Пришли и *Зеленые святки* (Духов день), а поле черное, как будто на нем ничего и не сеяно. Уже и молебствовали, и воду в *крыныцах* святылы. Нет, ничто не взошло. Посеяли яровое, и зерно в земле погибло. Народ заплакал, скотина заревела с голоду, и, наконец, собаки завыли и разбежались. И Господь его знает, откуда эти волки взялися, — и днем и ночью так, бывало, и ходят по селу. Это было горе! всесветное горе! Но нам было горе двойное. Одно то, что люди в селе пухли от голоду и здыхалы, як ти собаки, без святои исповиди и причастия (отец Куприян сам занедужал). А другое наше горе было то, что наш князь, ничего этого не видя, назовет к себе гостей, свою драгунию из Козельца, и с людьми, и с лошадьми, и с собаками, да и кормит их, и поит целый месяц. А до того ему и дела нет, что у мужиков ни одной крыши не осталось, все скотина съела. Лесу даже не осталось ни одного дерева живого; все деревья — и дуб, и ясень, и клен, и осыка, уж на что верба горькая — и та была оскоблена и съедена людьми. О Господи! что-то голод делает с человека! Посмотришь, бывало: совсем не человек ходит, а что-то страшное, зверь какой-то голодный, так что и взглянуть на него нельзя без ужаса! А дети-то, бедные дети! просто пухлы з голоду; лазят, бывало, по улице, как щенята, и только и знают одно слово: «*Папы! папы!*»

Вы, может быть, думаете, что у нас хлеба не было? Мыши его ели в скирдах и в коморах. Лет пять можно было б прокормить не только наше село, а весь Козелец. Так что ж ты будешь делать? Не дает людям. «Лучше, — говорит, — продам, когда вздорожает, а люды нехайдохнут, от них прибыли мало». Катруся моя бедная заикнется, бывало, сказать слово про людей... «Молчать! — закричит он на нее, как на свою белую собаку. — Разве я не знаю, что делаю!» Она, бедная, и замолчит: выйдет в другую комнату, да в слезы, а я, на нее глядя, и себе туда же. Что будешь с ним делать? Сказано — зверь, а не человек! И Бог ее святой знает, как она еще, бедная, дитя выносила?

Она была тогда уже на износе, этим самым дитям, что вы сегодня здесь видели (говорила она, обращаясь ко мне), и когда, бывало, он заснет пьяный, то она дрожа, на цыпочках, пройдет мимо его в свою комнату, упадет на колени перед образом скорбной Божией Матери, помолится и так горько заплачет, так горько, так тяжко, что я и не видала никогда, чтоб люди так плакали. Мне даже страшно делалось. А когда он поедет на охоту с своею драгуниєю, тогда мы возьмем себе по мешку хлеба печеного, — я еще, бывало, говорю ей: не берите, не подымайте через силу, вы сами видите, какие вы, я одна понесу. «Ничего, — говорит, — Микитовна (она меня тоже Микитовною звала), ты только показуй мне, у кого есть маленькие дети и старые, немощные люди». Вот мы и пойдем по хатам. Господи! чего я там

насмотрелась! Поверите ли, что голодная мать вырывает из рук хлеб у своего умирающего дитяти! И волчица, я думаю, этого не делает! Что значит голод!

Раз зашли мы в одну хату. О! я этой хаты, пока живу на свете, не забуду! Отворили мы двери, на нас так и пахнуло *пусткою*. Входим и видим: посередине хаты на полу лежат двое худых-прехудых детей, только колена толстые. Одно уже совсем скончалось, а другое еще губками шевелит, а около них сидит мать, простоволосая, худая, бледная, в разорванной рубахе и без *запаски*; а глаза у нее — Господи! какие страшные! И она ими не смотрит ни на детей, ни на кого, а так, бог знает на что смотрит. Когда мы остановились на пороге, она как будто взглянула на нас и закричала: «Не треба! не треба! хлиба!» Я вынула из мешка кусок хлеба и подала ей. Она молча обеими руками схватила его, задрожала и поднесла к губам умершего дитяти и потом захохотала! Мы вышли с хаты.

— Да, ты-таки, Микитовна, видела на своем вику багато дечого! — говорил хозяин, с участием глядя на старушку.

— И не говорите, Степановичу! Не приведи Господи никому того видеть, что я видела.

— Господь его милосердый знает, — продолжал хозяин, обращаясь ко мне, — как это воно все мудро да хитро устроено на свете! Я про себя скажу: меня эти проклятые голодные года просто на ноги поставили. У меня своего хлеба таки было довольно, та у людей еще прикупил, как будто знал, что будут неурожаи. Вот как настал голодный год, ко мне все и сунулись за хлебом. Я хотя и вчетверо продавал дешевле, нежели паны жидам продавали, а все-таки выручил порядочную копейку. *Чумаки* мои одну зиму зимовали з *худобою* на Дону, а другую перезимовали за Днистром, а там голоду не було; воли, слава Богу, и чумаки вернулись живи и здорови, да еще и соли и рыбы мени привезлы, а хлиб святой дома проданный. Вот у меня и гроши, и скотина, слава Богу, жива и здорова. Так и Бог его знает, как это воно так делается на свете, так дивно! — прибавил он, обращаясь к рассказчице.

— Такой уже ваш талан, Степановичу, — сказала она, вздыхая. — За то вам Господь и посылает, что вы в нужде людей не оставляете! Вот хоть бы и я теперь: если бы не вы, куда бы я приклонилась с этою бедною сиротою? Хоть с горы та в воду...

— Господь с вами, Микитовна! Мы свои люди! С кем же нам делиться, как не с вами! А тым часом продолжайте, Микитовна, а то, може, нашому гостеву и заснуть треба, — говорил он, на меня поглядывая.

— Кое-как прошло лето, — продолжала старушка. — Осени мы и не видели, разом наступила зима, да лютая такая, да жестокая. И холод, и голод разом посетил нас. Лес, ободранный весь, высох, а князь, наш хозяин, запретил его на дрова рубить. «Кто, — говорит, — хоть веточку срубит, того, — говорит, — в гроб вгоню. Лес славный, сухой, летом примуся, — говорит, — палаты себе строить. Я люблю простор, мне нужен дворец, а не лачуга хохлацкая, в которой я теперь гнезджуся, как медведь в берлоге!» И люди, бедные, и мерзли, и мерли. А что с ним будешь делать? Сказано, — пан, что хочет, то и делает.

На первой неделе Филипповки разрешилась она, бедная, от бремени и не хотела взять мамку, а сама кормила свое дитя. Вскоре после крестин поехал он в Козелец к товарищам и прогостил у них целую неделю. Отдохнули мы без него немного, слава Богу. Только ночью, мы уже спать легли, приезжает он, ломится в двери да кричит. Я вскочила, отворила дверь, достала огня; только смотрю, какая-то женщина с ним в картузе и в офицерской шинели. Как крикнет он на меня: «Что ты, — говорит, — глаза вытарщила? Пошла вон, дура!» Я и ушла в свою комнату.

На другой день, за чаем, он сказал Катрусе:

— Знаешь, душенька, какой сюрприз мне сделала сестрица? Не написавши мне ни слова, что хочет с тобою лично познакомиться, взяла да и приехала, как говорится, не думавши. Такая, право, ветреница. И вообрази себе, на перекладных ведь приехала, — настоящая гусар-баба. Просто одолжила! Вчера, вообрази себе, подхожу я к почтовой станции, смотрю, тройка у ворот стоит совсем готовая. Я остановился. Дай, думаю, посмотрю, кто такой поедет. Только смотрю, выходит дама. Я, знаешь, этак тово... ты прости меня, душоночек, проклятая привычка! Смотрю... и представь себе мой восторг! Это была моя сестра. Тут мы, разумеется, бросились в объятия друг другу.

— А я и не знала, что у тебя есть сестра! — проговорила Катруся.

— Как же, есть, и не одна, а две. Одна замужем за графом Горбатовым, — та постоянно живет в столице, при дворе, она бы тоже ко мне прикатила, но, знаешь, нельзя: она слишком заметна при дворе. Я тебе, душенька, свою сестрицу сейчас представлю.

Как полотно, побледнела моя бедная Катруся; она, верно, бесталанная, догадалась, какая это будет сестрица. Через минуту он ввел под руку женщину, не знаю — молодую, не знаю — старую: за белилами та румянами нельзя было узнать.

— Рекомендую тебе, душенька, княжна Жули Мордатова. И она вертляво поклонилась, проговорила что-то, не знаю — по-русски, не знаю — по-польски; я ничего не разобрала, да Катруся, думаю, тоже, потому что она ей и головою не кивнула, а только побледнела пуще прежнего.

— Ты извини ее, друг мой, она у меня еще институтка, по-русски почти слова не выговорит, а в высшем кругу в русском языке никакой нет надобности. Да я про себя скажу: я до двадцати лет не умел по-русски двух слов сказать. У нас в Грузии, почти все равно, что и в столице, никто по-русски не говорит, все по-французски. Такая мода, мой друг! Мы и свою крошку в столицу в институт пошлем, не правда ли?

Катруся не могла долее вытерпеть. Она молча встала и ушла в детскую, и я ушла за нею. А Катерина Лукьяновна осталась одна с своими князьями.

Я была бы счастлива, Степановичу, если бы я забыла то, что у нас творилось в доме... Но Бог меня, не знаю за что, памятью покарал.

После этой проклятой сестры я ни на одну минуту не оставляла моей Катруси, да и она, моя бесталанница, с той поры ни шагу не выступала из своей комнаты.

Господи! Святая Катерино-великомученице, страдала ли ты так, как она, моя бедная Катруся, страдала? Бывало, день плачет, ночь плачет. Я уже не знала, что с нею и делать. Вот она плакала, плакала, да и начала уже в уме мешаться. Я хотела было ребенка отнять от груди, нет, не дает. «Умру, — говорит, — с ним вместе, нехай мене в одну труну положат с ним, пускай, что хотят, делают, а его никому не отдам!» Что же мне было делать с нею? Я так и оставила дитя. Смотрю только, бывало, да плачу! Катерина Лукьяновна тоже, бывало, зайдет в нашу комнату, посмотрит на свою княгиню — и, хоть была гордая, заплачет и выйдет из комнаты.

А тут же рядом в других комнатах песни та музыка, точно в корчме на перекрестном *шляху*. А жидовка Хайка, что князь назвал своею сестрицею, так и носится с драгунами, и поет, и пляшет, и всякие фигуры выделяет, отвратительная, даже трубку курила!

Катруся моя бедная сначала показывала вид, что ничего не видит и не слышит; а после уже ей, сердечной, невольно стало, да что станешь делать с таким иродом? У нашей сестры, сказано, одни слезы, ничего больше не осталось. А слезы что? вода! Ох! не одну реку пролила она этой горькой воды! А он, как ни в чем не бывало, зайдет к ней иногда, да еще спрашивает: «Как ты себя чувствуешь?» Как будто ослеп, прости ты меня, Господи! не видит, что ее, бедную, едва ноги носят.

— Не послать ли, друг мой, в Козелец за полковым штаб-доктором? — «Не нужно», — скажет она да и замолчит. «Ну, как знаешь; это твое дело, а не мое, я в твои дела, друг мой, никогда не мешаюсь», — скажет, бывало, и уйдет, хлопнувши дверью.

Только мы и свет Божий видели, когда, бывало, он уедет куда-нибудь недели на две, на три к своим товарищам драгунам. Тогда мы без него вымоем, выскоблим полы и выветрим хоть немного покои, а то просто конюшня конюшнею. Раз он тоже ночью приехал и привез с собою другую сестру, уже не жидовку, а полячку или цыганку, кто ее знает, — помню только, что была черная. И хотел тоже рекомендовать Катрусю, только она его и в комнату не пустила.

Зима уже близилась к концу. Как раз на *Середохрестний* мужики наши, собравшись громадою, пришли к нему просить зернового хлеба для посева. Что ежели, говорят, Бог уродит, то они ему его доброе возвратят седмерицею. Куда тебе! И выговорить слова не дал, прогнал их, бедных, да еще и собаками притравил. Хотела было вступить за них сама Катерина Лукьяновна, да как он гаркнет на нее: «Молчать! — говорит. — Не ваше дело, я сам знаю, что я делаю. Я в ваши чепцы да кофты не мешаюсь, так прошу не вмешиваться и в мои распоряжения». — Сказавши это, кликнул своего Яшку и велел закладывать тройку, чтобы ехать куда-нибудь к своим драгунам.

Когда он уехал, Катерина Лукьяновна пошла в *клуню*, чтобы выбрать полускирдок жита и пшеницы да и велеть смолотить мужичкам для семян: она думала, что он по своему обыкновению долго проездит. Посмотрела около клуни — и половины скирд хлеба не досчитала. «А куда же все это делось?» — спрашивает она у *токового*. А *токовой* отвечает, что сам князь по частям все жидам продавал, да половину уже и продали. И солому, и полову — все продали жидам, а жида, разумеется, солому драгунам, а *полову* (мякину) нашим же мужикам, — а они, бедные, и полове были рады! Катерина Лукьяновна выбрали одну скирду жита, а другую пшеницы и велели мужикам молотить. «Только поскорее, — говорит, — молотите, а то приедет князь, так он не даст вам ничего». Так и случилось! На другой день, только что начали молотить, глядь! — въезжает сам на двор. «Что вы делаете, мошенники? — крикнул на них. — Как вы посмели? Кто вам приказал? Я вас!» Да как выхватил нагайку у кучера или у Яшки, да как принялся молотников молотить так, что ни одного на *току* не осталось, все разбежались.

Досталось же и Катерине Лукьяновне за эту молотьбу! Она, бедная, три дни с постели не вставала!

После этого он уже все дома бенкетовал, никуда не ездил аж до *Зеленых свят*. А на самой Зеленой неделе и выехал он куда-то с своим Яшкой. Катерина Лукьяновна опять послала за мужиками и велела им намолотить хоть сколько-нибудь ярового хлеба для посева, потому что, благодаря Бога, дожди перепали и земля таки порядочно позеленела. Только что принялись они молотить просо и гречиху, как в тот же день возвращается он сам, а за ним видимо и невидимо драгуния, как орда тая за Мамаем, валит. Кто на мужицком возу, а кто так просто без седла верхом, а денщики — те, бедные, пешком и босяком, только с трубкою да кисетом в руках, плелись за своими драгунами.

Как только что на порог он вступил, кликнул своего Яшку и приказал ему, чтобы к трем часам был готов обед на 50 персон, к трем часам непременно, а ужин ввечеру на 100 персон, тоже чтоб был готов непременно. «Для обеда и для ужина стол накрой в саду. Полно, — говорит, — в этой конюшне валяться, теперь можно и на подножный выйти». А червонцами так и гремит в карманах. «Да слушай, — говорит, — скажи приказчику, чтобы завтра всех мужиков выгнал хлеб молотить. Нужно весь перемолотить, сколько его ни есть».

Вот тут-то мы и догадались, [откуда] у него червонцы взялись. «Неужели он весь хлеб продал? — говорит Катерина Лукьяновна. — Что же люди, бедные, посеют?»

А драгуния тым часом со всею своею мизериею, не заходя в покои, отправилась прямо в сад и покотом на траве лежала и сквернословила да трубки курила, пока он не велел вынести им водку. Все стулья и столы тоже в сад вынесли; велел было и из спальни все забрать, да мы замкнулися и не пустили его к себе. Он выругался за дверью по-своему, по-московскому, и оставил нас в покое.

Пока приготавливали обед, драгуния гуляла по саду и пила водку, расставленную чуть ли не под каждым деревом в больших графинах. А другие гости тоже пили водку и в карты играли; наш князь с ними тоже пил и играл в карты и все червонцы, что получил от жида как задаток за хлеб, проиграл, потому что бросил на землю карты и вышел из-за стола, а товарищи его захохотали. Все это я в окно видела.

Смеркало уже, когда Яшка с другими денщиками начали накрывать на стол. Поставили столы, а на столы положили длинные доски, простые дубовые доски, и покрыли их холстом, потому что у нас хоть и была длинная скатерть, но Катерина Лукьяновна не дала ее, чтоб не испортили иногда пьяные гости, а скатерть была дорогая. Поставили на столе в трех местах свечи, а чтоб светлее было, то по концам длинного стола зажгли смоляные бочки. И только что вся драгуния села за стол, откуда ни возьмись полковые трубачи, да как грянут, так только земля задрожала! Не успели они и одного маршу проиграть, смотрю, клуня наша загорелась: смоляные бочки так [и] сыплют искры на скирды и на клуню, а гости смотрят и, звычайне, пьяные, знай хохочут да кричат «ура!»

— Катрусю! — говорю, — сердце мое, посмотрите, — говорю, — клуня наша горит, что мы будем делать? — Смотрю, а она неживая. Я к Катерине Лукьяновне, и та без чувств лежит. Я на нее брызнула холодной водой, она очнулась. Спасайте, — говорю, — Катрусю с младенцем, а то сгорит. Скирды уже все загорелися. Скоро дойдет и до дому. Насилу-то, насилу мы ее в чувство привели, взяли ее под руки и вывели из дому. Я хотела было дитя взять у нее, но она его из рук не выпускала и только шептала: «Не дам, никому не отдам, сама его похороню». Мы испугались, она как-то страшно все это шептала. Мы повели ее через греблю, прямо к вам, Степановичу, в хату, дай вам Бог доброе здоровье, — сказала она, обращаясь к хозяину. — И уже из вашей хаты я видела это проклятое пожарище.

И Господь его знает, откуда тот ветер взялся. Снопы так прямо и летели на *будынок* из скирд. А потом ветер как будто переменялся, когда загорелися *будынки*, и поворотил прямо на хаты. Через минуту все село запылало. — Пропали мы, — говорю я мой Катрусю; а она, моя бедная, лежит, только головою мне кивает и языка во рту не поворотит. — Катрусю! Катрусю! — кричу я. Не слышит. Я стою ни жива ни мертва. — Катрусю! — едва проговорила я. Она вдруг вскочила, посмотрела вокруг себя, да как бросит своего бедного ребенка на пол. И как закричит не своим голосом, да и ну на себе волосы рвать. Я вижу, что она не в своем уме, взяла дитя и вынесла в другую хату. А ее, бедную, мы со Степановичем кое-как уласкали, да завернули ее в *рядно* (в простыню), да и стали лить ей холодную воду на голову. Она пришла в себя да и говорит: «Не буду! не буду!» — А что? и чего не буду? — она и сама не знала, что

говорила. Потом она захохотала, потом начала петь, а потом запела, да так жалобно, так страшно запела, что мы выбежали с хаты. Так она, бедная, промучилась до самого рассвета. Перед зарницею она немного успокоилась, а я тем временем села у окна и смотрела, как наше бедное село догорает. Над ним кое-где только дым дымился, ничего не осталось! И дом, и клуня, и село — все пропало; остались одни *дымари* да печи от господского дому, а от мужичьих хат и того не осталось, потому что у них не каменные. Остался только сад, почерневший от дыму; стоит себе в стороне, да такой черный и страшный, что я и смотреть на него боялась.

Заплакала я, грешная, глядя на это пожарище. Что будешь делать! На все Его святая воля! Разбудила я Катерину Лукьяновну и говорю ей: что же мы теперь будем делать? Где мы приютимся, куда мы денемся с нашею бедною Катрусеею? «А что?» — говорит она. А то, говорю я, что она не в своем уме, что она помешалась. «А ребенок?» — говорит она. Ребенка, говорю я, я от нее отняла, а то она его чуть было не задушила. Вскочила она и, простоволосая, выбежала на двор и кричит, чтобы бричку скорее заложили. Только видит, что двор чужой, — она и замолчала, посмотрела на ту сторону гребли, ахнула, затрепетала и, как неживая, упала ко мне на руки. Когда пришла в себя, то сказала: «Где же княгиня? (Она всегда ее так называла.) Покажи мне ее». Мы пошли в комору, где была заперта Катруся. Когда мы вошли к ней, то она, бедная, сидела на полу в одной рубашке и с растрепанной косою и вся как огонь горела, несмотря на то, что в коморе было довольно-таки холодно; в руках держала она свое искомканное платье и прижимала его к груди своей. Когда мы вошли, она взглянула на нас и шепотом сказала: «Спит». Мы вышли из коморы. Страшно было смотреть на ее, бедную, а Катерина Лукьяновна как ни в чем не бывало, и не вздохнула даже. А не кто другой, как она, она сама всему причина. Не осуди ее, Господи, на Твоем праведном суде!

Помолчавши немного, она обратилась ко мне и сказала: «Марино! нужно достать где-нибудь экипаж и лошадей да отвезти ее в Чернигов или в Киев. До Киева, кажется, будет ближе, но где мы лошадей и экипаж достанем? Хоть бы бричку какую-нибудь». А лошадей, говорю я, нам и Степанович даст. Только брички у него нет, а простая мужицкая повозка есть. «Попроси, — говорит она, — хоть простой повозки».

Я выпросила у Степановича, спасибо ему, и коней, и повозки. Наложили мы в повозку сена да покрыли *рядном* и положили ее, бедную, в повозку; около нее села сама Катерина Лукьяновна, да и повезли ее в Киев, в Кирилловский монастырь. Вот тебе, Катерина Лукьяновна, и княгиня. Теперь любуйся ею.

Старушка замолчала и тихо заплакала, а хозяин прибавил:

— Да, таки нечего сказать, хорошая княгиня!

— А что же случилось с князем? — спросил я.

— А Господь его знает! — отвечала старушка. — Перед Велькоднем драгуня выступила в поход из Козельца, то, может быть, и он выступил с нею. Только мы его с той ужасной ночи уже не видали.

— И князь хороший! нечего сказать, — прибавил хозяин. — Хоть бы дитя проведал! Проклятый!

— Господь с ним, Степановичу, пускай лучше не проведывает! — сказала старушка и, выходя из хаты, пожелала нам покойной ночи.

На другой день поутру, пока жидок мой подмазывал бричку и закладывал свои тощие лошади, [я] сидел под хатою на призьбе и смотрел на противоположный берег Трубежа, на грустные

остатки погоревшего села, невольно восклицая: «Вот тебе и село! Вот тебе и идиллия! Вот тебе и патриархальные нравы!» И тому подобные восклицания срывались у меня с языка, пока бричка не высунулась на улицу. Поблагодарив хозяина за его бескорыстное гостеприимство, я отправился своей дорогой.

Через несколько дней я был уже в Киеве, и, поклонившись святым угодникам печерским, в тот же день посетил я Кирилловский монастырь. И увы! лучше было б не посещать его. Я слишком убедился в горькой истине печального этого рассказа, так неотрадно приветствовавшего меня на моей милой родине.

Джерело: *Шевченко Т. Г. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 3: Драматичні твори. Повісті. — С. 152-177.*

Постійна адреса: http://ukrlit.org/shevchenko_taras_hryhorovych/knyaginya